

О Н. И. ПИРОГОВЕ ⁷⁸

Собирая материалы для празднования столетия со дня рождения Пирогова, вы, между прочим, обратились ко мне. Не будучи ни анатомом, ни хирургом, ни педагогом, я не мог бы ничего сказать вам о деятельности Николая Ивановича, если бы в моей собственной жизни не случилось обстояательства, в котором он сыграл большую роль.

Тотчас по окончании курса в Харьковском университете, в 1864 г., я поехал за границу для усовершенствования своих знаний в зоологии. Я отправился на маленький остров Гельголанд с целью ближе познакомиться с миром морских животных. Там я сошелся с знаменитым немецким ботаником Коном, который очень советовал мне поработать в Германии под руководством кого-нибудь из лучших зоологов. В это время как раз должен был собраться съезд немецких естествоиспытателей и врачей в Гиссене, где тогда был профессор один из самых знаменитых зоологов того времени — Лейкарт.

«Поезжайте в Гиссен,— сказал мне Кон,— и постарайтесь воспользоваться советами Лейкарта и, если возможно, останьтесь у него подольше». Я с увлечением ухватился за этот план, но очень ограниченные средства моих родителей давали мне малую надежду на его выполнение.⁷⁹ При помощи всяческих лишений я скопил деньги, нужные для поездки на съезд, но должен был покинуть мечту остаться дольше за границей для научного усовершенствования.

На съезде в Гиссене собрался весь цвет немецкого естествознания. Знакомство с Лейкартом и другими зоологами вселило во мне самое пламенное желание остаться в Германии. Но как осуществить это? Я не мог рассчитывать ни на помощь родителей, ни на командировку от министерства на-

родного просвещения, так как незадолго перед тем оно отправило за границу целый штат молодых ученых и в числе их зоолога Степанова из Харькова.

Когда я высказал Лейкарту сожаление, что не могу остаться у него надолго из-за недостатка средств, то он предложил мне обратиться к Пирогову, которого он знал лично и которому было поручено наблюдение за молодыми русскими учеными, командированными за границу для приготовления к профессуре.⁸⁰

Пирогов отнесся с большим вниманием к рекомендации Лейкарта и выхлопотал мне стипендию министерства народного просвещения на два года.

Благодаря Николаю Ивановичу я получил возможность спокойно предаться научной работе и в то же время поступил в число поднадзорных ему молодых ученых. В качестве такого я должен был лично явиться к нему и отдать отчет в моей научной деятельности. Свидание наше состоялось осенью 1865 г. в Неаполе, в одном из тамошних больших кафе.

Пирогов принял меня очень любезно, расспрашивал о моих занятиях, о неаполитанской фауне, о моих планах на дальнейшее будущее и при этом выказал себя не начальником, а добрейшим руководителем, симпатичный характер которого запечатлелся у меня на всю жизнь. Я поэтому тем более присоединяюсь с большой радостью к многочисленному голосу лиц, вспоминающих с теплым чувством Пирогова по случаю столетия со дня его рождения.

После неаполитанского свидания мне ни разу не удалось больше встретиться с Николаем Ивановичем.

Севр,
4 (17) ноября 1910 г.

ПАМЯТИ Н. А. УМОВА⁸¹

Многоуважаемый господин редактор!

Мне только что доставили вашу телеграмму с печальным известием о кончине профессора физики Н. А. Умова. В ней Вы высказываете желание получить от меня несколько строк о моем умершем друге. Не будучи специалистом по части физики, особенно математической, я не могу рассказать Вашим читателям содержание его многочисленных выдающихся работ в этой области. Но я охотно поделюсь с ними воспоминаниями о Н. А. Умове как об ученом, ставившем служение науке выше всего в мире и представлявшем собой во всех отношениях тип высоко благородной личности. До конца жизни он остался верным идеалу, которому начал служить с ранней молодости.

Сын врача, он с юных лет увлекся математикой, к которой обнаружил большие способности, и вскоре погрузился в изучение самых трудных задач математической физики. Он был отчасти провозвестником теорий, которые лишь в последнее время выступили на первый план в науке.

Защитив магистерскую диссертацию в Москве, он был утвержден штатным доцентом (по уставу того времени) в Одесский (Новороссийский) университет, где он сразу произвел очень хорошее впечатление * своей вступительной лекцией.⁸² Несмотря на то, что Умов был настоящий москвич, в университете он примкнул не к так называемой московской партии, а сразу сделался членом кружка, главой которого в то время был знаменитый русский физиолог И. М. Сеченов. Этот маленький кружок, в состав которого входили,

* См. «Автобиографические записки И. М. Сеченова», Москва, 1907. стр. 143.

казалось бы, самые разнородные элементы, имел девизом науку в самом возвышенном значении.⁸³ Не легко бывало проводить в жизнь его принципы, но Умов всегда твердо держался их. Не могло быть и речи о том, чтобы ради какой-нибудь практической цели эта чистая личность отступила от своих убеждений. Вот почему очень скоро Н. А. завоевал любовь своих ближайших товарищей и уважение даже со стороны своих противников. В сеченовском кружке он получил репутацию идеалиста, далекого от всего земного. Одна остроумная дама из нашего кружка обозначила его формулой: «кси, возвышенного в степень ро». Идеалистом Умов оставался всю свою жизнь.

Я находился с ним в самой близкой дружбе, и общение с ним не осталось без влияния на мою судьбу. Привив себе возвратный тиф в 1881 г., я лежал больной, когда были назначены ректорские выборы в Одесском университете.⁸⁴ Положение дел было в высшей степени натянутое и трудное, так как выборы эти состоялись в начале периода реакции, последовавшей за убийством императора Александра II. Главными кандидатами в ректоры были два профессора, разумеется, из консервативного лагеря, из которых один отличался большим умом и необыкновенной ловкостью в обделывании дел своей партии, тогда как другой, не хватавший звезд с неба, мог своим неумением лишь навредить делу реакции. Положение сложилось таким образом, что в интересах спасения университета от невыносимого гнета здравый смысл заставлял предпочесть недалекого реакционера талантливому. Не имея возможности по болезни присутствовать при выборах, я доверил мой голос Умову в уверенности, что он положит черный шар опасному для университетской свободы кандидату. Но мой закадычный друг, верный своим принципам, применил к выборам ректора ту же мерку, которой мы следовали при выборах профессоров, и положил мой шар в пользу кандидата, гораздо более достойного в научном отношении, но несравненно более вредного с точки зрения интересов университетской свободы. Этими выборами была решена моя участь, и я сразу понял, что искусно орга-

низованное реакционное течение выбросит меня из университета.⁸⁵

Само собой разумеется, что мне и в голову не приходило обвинять Умова в распоряжении им моим шаром. Чистота его намерений была настолько очевидна, что не могло быть сомнения в его уверенности, что он действовал исключительно на пользу университета. Мы, конечно, остались друзьями и после моего выхода в отставку.⁸⁶

Перейдя в Москву в девяностых годах прошлого столетия, Умов, уже постаревший, и там остался тем же чистым, преданным всецело науке идеалистом.⁸⁷ Когда небывалая до того реакция обрушилась с силой на Московский университет и учинила в нем разгром, приведший в ужас истинных служителей науки и свободы преподавания, Умов с болью сердца ушел из университета, лишившись физического кабинета, необходимого ему для продолжения его научной деятельности.⁸⁸

За последние годы мне не раз приходилось встречаться с Умовым в Москве и Париже и убеждаться в том, что он ни на волос не отступал от своего юношеского идеала. Я уверен, что, помимо его научных заслуг, память о нем сохранится у всех, кому дорога наука и свобода преподавания ее.⁸⁹

Прошу Вас, многоуважаемый господин редактор, принять уверение в совершенном почтении Вашего Ил. Мечникова.

Париж,

9 (22) января 1915 г.

МОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В МЕССИНЕ

(Из воспоминаний прошлого)⁹⁰

Когда газеты вышли с заголовками статей: «Гибель Мессины», «Мессина совершенно разрушена» и т. п., то можно было думать, что сообщаемые ими известия очень сильно преувеличены ради возбуждения большого интереса в читающей публике. Но и после получения более подробных сведений действительность оказалась ужасной. Множество домов пострадало от землетрясения и последовавшего за ним наводнения морской волной. Бедствие усиливалось еще вследствие пожара, вспыхнувшего во многих частях города вследствие повреждения газовых труб и газометров. Число человеческих жертв еще не определилось с точностью, но если оно и ниже 100 000, возвещенных газетами, то во всяком случае оно должно быть очень велико. Уже теперь можно видеть, что облик прежней Мессины существенно изменился и что нынешняя катастрофа ужаснее всех бывших ранее в Сицилии землетрясений.⁹¹

После смерти кого-нибудь из близких является потребность говорить об усопшем, вспоминать черты его лица и характера, все до мелочей. Так и теперь. Катастрофа, постигшая Мессину, оставляет впечатление как о потерянном близком друге, и сами собой напрашиваются воспоминания о времени, проведенном мною в ней. Многократное пребывание в Мессине оставило во мне глубокие следы, и потому, кроме чувства жалости, которое теперь испытывается всеми, во мне говорит еще особенное личное чувство.

Мессину я знал более сорока лет. Она издавна была излюбленным местом естествоиспытателей, интересующихся жизнью низших морских животных. И я попал в нее с целью их исследования. В первый раз меня увлек туда мой незаб-

венный товарищ и друг А. О. Ковалевский, который поехал туда весной 1868 г. В своих письмах он так восторженно описывал мне богатство мессинской морской фауны и так усиленно меня звал к себе, что я, недолго думая, покинул Неаполь и поплыл в Мессину.⁹²

После ночи, проведенной на море, рано утром наш пароход причалил к мессинской пристани. Окруженная живописными, но невысокими горами, Мессина расположилась полукругом вдоль пролива, в виду калабрийского берега и находящегося на нем небольшого города Реджио.

Часто говорят о прелести Мессины и о ее великолепных дворцах на морской набережной. Особенно теперь, когда большая часть Мессины подвержена действию землетрясения, описывают красоту ее с особенным энтузиазмом. В действительности же Мессина далеко не была красивым городом. При въезде в нее с моря прежде всего поражала грязная набережная, загроможденная товарами, между которыми первое место занимают деревянные ящики с апельсинами. Здания, окаймляющие набережную, тоже грязны и негармоничны. Нижние этажи их заняты большей частью конторами пароходных компаний и разными коммерческими предприятиями. Здесь же и большая гостиница «Тринакрия» и несколько других, менее значительных. Параллельно с набережной тянется довольно широкая улица, главная артерия города с многочисленными магазинами и лавками. С ней сообщается несколько площадей и между прочим Piazza del quatri cavallucci* с четырьмя лошадиными бюстами на высоких цоколях.

Городской сад невелик, но красив и засажен многими южными растениями. Особенно помню большое дерево с пурпурно-красными цветами в виде мотыльков, под тенью которого мне приходилось подолгу сидеть и размышлять.

В общем город Мессина не представлял ничего сколько-нибудь выдающегося по красоте, но зато в высшей степени живописны его окрестности. Стоило подняться на некоторую высоту, чтобы увидеть чудный вид на море и на Калаб-

* Площадь четырех коней (ит.). Ред.

рию, или же пройтись или проехать вдоль берега моря, по направлению к деревне Фаро, чтобы насладиться дивной природой.

В первое мое пребывание в Мессине я был еще очень молод. Во мне бурлило усиленное желание возвыситься над прозаическим уровнем школьной науки. Я усердно работал над историей развития низших животных в надежде найти в ней ключ к пониманию генеалогии организмов. После дня, проведенного за микроскопом, мы с Ковалевским обменивались добытыми результатами, спорили и проверяли друг друга. Но усиленное микроскопирование в Мессине с ее ярким солнцем вскоре расстроило мое зрение. Мне приходилось отрываться от занятий по нескольку часов подряд, и тут-то я уходил в городской сад, где предавался горю о невозможности продолжать работу и мечтам о том, как устроить жизнь, согласную с теоретическим мировоззрением.⁹³ Несмотря на препятствия, мне удалось все-таки добыть кое-какие интересные результаты (особенно по истории развития иглокожих); но все же болезнь глаз принудила меня покинуть Мессину и снова вернуться в Неаполь. Для перерыва в занятиях и для избежания морской болезни я предпринял путешествие сухим путем из Реджио в Неаполь. В те времена железнодорожного сообщения в Калабрии не существовало, и мне пришлось несколько дней ехать в почтовой карете до Эболи (недалеко от Неаполя).⁹⁴ Дорогой поражали многочисленные деревни, разрушенные бывшим незадолго перед тем землетрясением, деревни, расположенные среди больших оливковых садов и каштановых рощ. Пассажиры, бывшие в дилижансе, всю дорогу говорили о калабрийских разбойниках, которых тогда было не мало на пути. Одно время, когда наша карета завязла ночью в грязи, произошла почти паника между ними в ожидании разбойников, которые должны были, по их мнению, напасть на нас из-за ближних развалин деревни, разрушенной землетрясением. Ввиду этой перспективы некоторые путешественники запрягивали деньги в чулки и готовили оружие. Я на этот раз оказался спокойнее многих товарищей по дилижансу: у меня не было ни денег, ни оружия. Страх оказал-

ся напрасным, и мы благополучно доехали до железнодорожной станции в Эболи.

Во второй раз я посетил Мессину через двенадцать лет после первого, но оставался в ней лишь несколько дней для решения одного занимавшего меня тогда вопроса (естественная история ортонекид).⁹⁵ Мессину я нашел все в том же виде грязного портового города среди чудной природы.

Главное мое пребывание в Мессине относится к 1882 и 1883 гг. Туда я поехал «отдыхать» после выхода в отставку из Одесского университета. Уже несколько лет перед тем я усиленно углубился в изучение ранних стадий развития животных уже не только в надежде найти в них ключ для понимания генеалогии этих организмов, но почти уверенный в успешном результате моих долгих исканий. Но, прежде чем притти к выводам, было необходимо сделать несколько фактических исследований, более или менее кропотливых. К сожалению, жизнь в русских университетах налагала непреодолимое препятствие к достижению этой цели. Не говоря о недостаточности зоологического материала даже в приморском городе, как Одесса, затруднение происходило от невозможности найти достаточно времени для спокойной научной работы. С одной стороны, профессора чересчур усердно занимались «делами», т. е. хлопотали о выборах профессоров, об избрании на должности деканов, ректора и пр. С этой целью в читальной постоянно собирались группы, обсуждая малейшие события университетской жизни. С другой же стороны, студенты вечно волновались, пользуясь для этого всевозможными обстоятельствами. После 1 марта 1881 г. положение в университете особенно обострилось.⁹⁶

И в то же время я дерзал соображать о происхождении кишечного канала у животных и о том, каковым он должен был быть у наших давно отошедших в вечность предков. Для того чтобы найти сколько-нибудь спокойствия для работы, я забрался в самую отдаленную комнату зоологического отделения под защиту длинного ряда помещений чучел животных и других коллекций. И вот в то время, когда я

сидел над историей развития медуз, ко мне пришли два профессора с внушением вступить в бой по поводу университетских дел. Скрепя сердце, нужно было бросить микроскоп и ринуться в водоворот советских заседаний, результатом чего получилось мое прошение об отставке и последовавшая затем в небывалый в канцелярских сферах кратчайший срок и самая отставка.⁹⁷

Очутившись на свободе, моей первой мыслью было уехать за границу, куда-нибудь, где можно было бы в тиши заняться продолжением моей научной работы. Мне чудилось, что избранные мною генеалогические вопросы способны привести к интересным результатам общего характера. Для продолжительного пребывания на море я по разным соображениям выбрал Мессину, куда и двинулся с семьей, т. е. с женой и ее братьями и сестрами, находившимися под моей опекой.⁹⁸

На этот раз мы поселились не в самой Мессине, а в ее окрестностях, в местечке Ринго, на самом берегу моря, по дороге в Фаро. Мы наняли небольшой домик довольно примитивного устройства и взяли на прокат кое-какую мебель. В «гостинной» я водрузил свой микроскоп и все, что нужно было для работы. Следуя сицилийским нравам, в этом отношении похожим на русские, нам пришлось взять три человека прислуги: типичную смуглую сицилианку, горничную Нину, подслеповатого повара Кармело и мальчика на побегушках Праджидо. Все они с вечными жестами и криками исполняли роль и хотя и без соблюдения правил строгой чистоты, но все же кормили нас удовлетворительно.

В чудной обстановке Мессинского пролива, отдыхая от университетских передраг, я со страстью отдался работе. Однажды, когда вся семья отправилась в цирк смотреть каких-то удивительно дрессированных обезьян, а я остался один над своим микроскопом, наблюдая за жизнью подвижных клеток у прозрачной личинки морской звезды, меня сразу осенила новая мысль. Мне пришло в голову, что подобные клетки должны служить в организме для противодействия вредным деятелям. Чувствуя, что тут кроется нечто особенно интересное, я до того взволновался, что стал

шагать по комнате и даже вышел на берег моря, чтобы собраться с мыслями. Я сказал себе, что если мое предположение справедливо, то заноза, вставленная в тело личинки морской звезды, не имеющей ни сосудистой, ни нервной системы, должна в короткое время окружиться налезшими на нее подвижными клетками, подобно тому, как это наблюдается у человека, занозившего себе палец. Сказано — сделано. В крошечном садике при нашем доме, в котором несколько дней перед тем на мандариновом деревце была устроена детям рождественская «елка», я сорвал несколько розовых шипов и тотчас же вставил их под кожу великолепных, прозрачных, как вода, личинок морской звезды. Я, разумеется, всю ночь волновался в ожидании результата и на другой день, рано утром, с радостью констатировал удачу опыта. Этот последний и составил основу «теории фагоцитов», разработке которой были посвящены последующие 25 лет моей жизни.⁹⁹

Целый ряд заключений вытек сам собой из основного опыта с занозой, и мне представилась богатая перспектива исследований в области научной медицины, которая прежде мне была совершенно чужда. Вскоре я поделился новыми фактами и мыслями с мессинским профессором зоологии, моим большим приятелем Клейненбергом, который к тому же имел медицинское образование. Он очень поощрил меня в моих начинаниях, что вскоре было подтверждено судьей, особенно компетентным в этих делах.

Весной 1883 г. знаменитый немецкий патолог Вирхов приехал в Мессину с целью поправить здоровье в чудном сицилийском климате. Я встретился с ним у мессинского профессора Вейса (оставшегося, к счастью, в живых во время последнего землетрясения) и разговорился с ним о моих исследованиях и планах будущих работ в области медицины. Вирхов пожелал видеть мои опыты и приехал к нам в Ринго посмотреть на них. Отзыв его был крайне благоприятный.¹⁰⁰

Таким образом, в Мессине совершился перелом в моей научной жизни. До того зоолог, я сразу сделался патологом. Я попал на новую дорогу, которая сделалась главным

содержанием моей последующей деятельности. Я с особенным чувством вспоминаю это давно прошедшее время и с нежностью думаю о Мессине, катастрофа которой меня глубоко затронула. Говорят, что Мессину решено выстроить вновь на том же месте, но совершенно иначе, чем прежде. Это будут низкие здания, расположенные на широких улицах и построенные из особого материала. Это будет уже новая Мессина, не моя, не та, с которой у меня связано столько дорогих воспоминаний.

Париж,
25 декабря [1908].

РАССКАЗ О ТОМ, КАК И ПОЧЕМУ Я ПОСЕЛИЛСЯ

ЗА ГРАНИЦЕЙ ¹⁰¹

После тяжелой бури, пережитой за последние годы, теперь наступил в России период сосредоточения. Повсюду заметно стремление выяснить себе положение дел и наметить программу деятельности, причем везде видно желание содействовать преуспеванию страны.¹⁰² Для того чтобы наиболее сознательно решить задачу, очень важно ознакомиться с возможно большим количеством фактов, способных осветить ее. Имея это в виду, я решил побороть понятное читателю чувство неловкости говорить о себе и рассказать ему историю того, каким образом я уехал из России и свил себе гнездо за пределами ее.

На-днях пошел двадцать второй год с тех пор, как я поселился в Париже. После такого продолжительного периода не удивительно, что я решил сложить в нем свои кости. Обстоятельство это может служить ручательством того, что в последующее изложение не будет внесено никакого личного мотива, способного повлиять на искренность моего рассказа.

I

Еще ребенком у меня обнаружилось усиленное желание отдаться науке, которое не иссякло даже несмотря на школьную муштровку. Нужно, впрочем, сказать, что в то время, когда я проходил гимназию, т. е. в начале царствования Александра II, не ощущалось гнета ни с какой стороны на свободное развитие душевных способностей. Сверху чувствовалось гуманное отношение начальства, а снизу не проявлялось фанатического давления на стремления молодежи. И в те времена «политика» понемногу прокрадыва-

лась в гимназические стены. В них распространяли заграничные издания Герцена, главным образом «Колокол». ¹⁰³ Изредка гимназисты увлекались студентами в подпольные заседания, на которых обсуждались политические дела и шла речь о противоправительственной агитации. Но все это не мешало удовлетворению стремления к науке. Не раздавалось проповеди о том, что занятие наукой и искусством есть «подлость» ввиду бедствий, переживаемых народом. Наоборот, вполне допускалась мысль, что успехи науки способны наилучше содействовать общему прогрессу. ¹⁰⁴

При таких условиях у пишущего эти строки беспрепятственно развивалось стремление к научной деятельности как к единственному пути к тому, чтобы составить себе разумное мировоззрение. В университете, куда я поступил в начале 60-х годов, еще господствовала рутина, но среди профессоров были молодые ученые, горячо преданные науке и всячески содействовавшие научным стремлениям молодежи. Среди студенчества уже замечалось зарождение политической нетерпимости. Мой культ науки и систематическое непосещение сходов, на которых главным образом изощрялись в красноречии юристы, создало мне дурную репутацию у товарищей.

Мое отвращение от «политики» еще более усилилось, когда за границей я попал в общество русских эмигрантов в Швейцарии. Мой старший брат, Лев Ильич, был одним из деятельных членов русской колонии в Женеве, где в то время поселился Герцен. Я попал как раз тогда, когда против него шла упорная борьба молодых революционеров. Мой брат оставался одним из немногих сторонников Герцена. Посещая последнего, я был очарован его необычайным умом и остроумием. Слушая чтение его воспоминаний, я увлекался им как литератором, но все, что у него касалось политики, на меня не производило впечатления. ¹⁰⁵

Близость к герценовскому кружку в Женеве и к бакунинскому в Неаполе ¹⁰⁶ содействовала лишь большему укреплению моих стремлений к науке и убеждению в том, что серьезное занятие ею способно неизмеримо больше принести пользы людям, чем «политиканство».

II

С такими-то чувствами я взошел на кафедру в Одессе, будучи тогда еще совсем молодым.

Еще в гимназии товарищи прозвали меня «жрецом», заметив, что разговоры мои всегда смахивали на проповедь. Такой же характер носили и мои лекции, на которых я не устанно проповедывал веру в науку, причем я разумел настоящую науку, то, что нередко осмеивалось под названием «науки для науки». Я доказывал, что изучение ее необходимо для того, чтобы человек мог относиться сознательно к действительности, что и составляет источник величайшего блага. ✓

Проникнутый такими чувствами, я старался привить их и молодежи, которая все более и более увлекалась в сторону политики. Для того чтобы влиять на нее, я по возможности сближался со студентами и никогда не изображал из себя «ученого профессора», а держал себя совершенно просто. Но, разумеется, в мою программу не входило желание приобрести популярность среди студентов, и я никогда не потакал их увлечению политикой.¹⁰⁷ Однажды, осенью 1879 г., когда я собрался урвать на Средиземное море, с тем, чтобы заняться исследованием вопроса о генеалогии низших животных, ко мне явилась студенческая депутация с просьбой не уезжать за границу. Мне было поставлено на вид при помощи прозрачных намеков, что в России готовятся важные политические события, которые потребуют присутствия всех передовых сил страны. В своем ответе я сказал, что считаю мою чисто научную деятельность слишком высокой для того, чтобы пожертвовать ею для чего бы то ни было, и уехал в Неаполь.¹⁰⁸ ✓

Но с каждым днем положение в России и особенно в университете становилось все более и более тяжелым. Политика со всей силой ворвалась в учебные заведения, и занятие наукой в них делалось все более и более затруднительным. ✓

Одесский университет с самого своего основания отличался особенным изобилием неприятных дразг. Как учреждение тогда еще новое, он не сливался с городом. Профес-

сора, в большинстве выходцы из других университетов, были в Одессе новичками и не участвовали за крайними редкими исключениями ни в городском управлении, ни в банковых и тому подобных предприятиях. К тому же в Одессе не было других высших учебных учреждений, в которых университетские профессора могли бы занимать места. Ввиду всего этого деятельность их сосредоточивалась исключительно в университете. Все свободное от чтения лекций время профессора проводили в «лектории», где главным образом перетирались косточки товарищей, созидались, укреплялись и разрушались «партии». Выборы новых профессоров и должностных лиц (деканов, секретарей и пр.) составляли наиболее частую тему разговоров. Личные симпатии и антипатии играли очень важную роль при этом. Особенно заметен был антагонизм между профессорами местного происхождения, т. е. малороссами, и москвичами.¹⁰⁹ Научная оценка кандидатов большей частью подчинялась личным чувствам. Политика в более тесном смысле долгое время оставалась в стороне. Очень немногие профессора увлекались Катковым и проповедывали ненависть к «польской партии», т. е. к ничтожному числу профессоров — поляков или польского происхождения.¹¹⁰ Большинство же профессоров отличалось политическим индифферентизмом. Только в самом конце 70-х годов между молодыми профессорами появились редчайшие представители более крайних направлений, т. е. социалисты настоящие, или катедер-социалисты.

Что касается меня, то я оставался все время моего пребывания в Одесском университете беспартийным и на выборах подавал свой голос за кандидата, имеющего наибольший научный ценз. Таким образом, мне случилось положить белый шар профессору церковного права, представителю крайне правого направления, к которому я не был причастен, и профессору политической экономии, крайне левому, взглядов которого я также не разделял. Я поступил так потому, что первый был очень известен своими научными трудами, а второй, рекомендованный лучшими русскими политико-экономами, был умный, талантливый и ученый преподаватель.¹¹¹

Моя беспартийность порицалась моими товарищами, которые уверяли, что общественная деятельность немыслима при таких условиях, но я не отступал от своего правила, ценя науку очень высоко, а политику, наоборот, очень низко. Видя, однако же, что это мнение почти никем, кроме меня, не разделяется и что политика сверху и снизу начала заполнять университет, я все более и более стал уходить в свою лабораторию.¹¹²

III

При таких-то условиях грянул гром. Последствия 1 марта 1881 г. чрезвычайно приострили все университетские отношения, и политический характер последних выступил с особенной яркостью. Хотя по закону действовал еще устав 1863 г., но в воздухе уже носился будущий устав 1884 г. Это выражалось в том, что очень многие постановления совета кассировались высшей властью, видящей во всем вопреки действительности, крамолу. В то время, когда крайние левые партии были побеждены и деморализованы, власть как будто не замечала этого и продолжала преследовать без всякого разбора. Положение профессоров, не имевших ничего общего с противоправительственными направлениями, но не видящих никакой надобности в этих преследованиях, сделалось буквально невыносимым. Лица, как автор этих строк, преданные исключительно науке и ненавидящие всякую политику, почувствовали себя в крайне тяжелом положении и стали тем более подумывать о выходе из него, что оно начало оказывать несомненное влияние на здоровье, особенно на нервную систему.¹¹³ Посещение советских заседаний сделалось настоящей пыткой при виде того, что там творилось. Кандидаты на кафедру, научный ценз которых был ниже всякой критики, делались профессорами и выставляли свое невежество с невероятным цинизмом. Лица, возмущенные этим, стали подумывать о выходе в отставку. Но как осуществить это намерение? Почти все профессора в Одессе были люди без средств, и некоторые при том обремененные семьей. Выход в отставку при таких условиях мог повлечь за собой еще худшие последствия. Положение мое было

лучше в том отношении, что жена моя имела небольшие средства, а детей у нас не было никогда. Пользуясь этими преимуществами, я написал прошение об отставке и держал его в кармане на всякий случай.

IV

Такой случай не заставил себя долго ждать. За все время моего пребывания в университетах в качестве студента и преподавателя все ненормальное в жизни их исходило почти всегда из юридического факультета. Я уже упоминал выше, что студенческие сходки всегда устраивались юристами. Впоследствии большинство препирательств в Одесском университете также начиналось среди профессоров юридического факультета.

В то время, когда реакция косилась без разбора, осенью 1881 г., декан юридического факультета, пересматривая кандидатские диссертации студентов, кончивших курс весной того же года, нашел в числе их одну, своевременно одобренную факультетом и посвященную разбору деятельности политико-эконома Родбёртуса фон Ягцова. Автором диссертации был утвержденный кандидатом Герценштейн, впоследствии депутат первой Государственной Думы, столь трагически и преждевременно погибший. Найдя, что в диссертации этой проводятся социалистические тенденции, декан предложил юридическому факультету постановить решение, чтобы на будущее время подобные диссертации бывали систематически отклоняемы. Факультет согласился с таким предложением.¹¹⁴ Постановление это вызвало целую бурю, в результате которой мое прошение об отставке, до того лежавшее в моем кармане, очутилось в руках ректора.¹¹⁵

Студенты, а также многие профессора усмотрели в поступке декана прием с целью выставить профессора, одобрявшего диссертацию, «неблагодетельным» в политическом отношении. При господствовавшей в то время реакции предложение декана и последовавшее за ним постановление факультета могло повлечь за собой очень тяжелые последствия.¹¹⁶

Несмотря на подавленность всего левого, а особенно крайне левого, студенты-юристы заволновались. Они устроили враждебную демонстрацию своему декану, повлекшую за собой строгое осуждение нескольких из них. Университетский суд в своей поспешности наказал, между прочим, студента, который, по убеждению его товарищей, не участвовал в демонстрации. Из-за этого возникла новая, еще более крупная история, сильно взволновавшая весь университет и его высшее начальство.¹¹⁷

Попечитель Одесского округа, опасаясь, чтобы университетские беспорядки не произвели в правительственных сферах особенно неблагоприятного впечатления, решил принять чрезвычайные меры для успокоения студентов. С этой целью он пригласил меня вместе с одним профессором историко-филологического факультета и предложил нам убедить студентов прекратить сходки и демонстрации и принять спокойно за продолжение прерванных занятий. Мы оба согласились воздействовать, но, находя, что источником зла был совершенно некорректный поступок декана юридического факультета, мы поставили условием, чтобы после окончательного успокоения студентов попечитель предложил декану сложить с себя эту должность, оставаясь профессором. Попечитель дал нам слово выполнить эту программу.

Заручившись таким обещанием, нам легко было уговорить студентов возобновить мирные занятия, так что жизнь университета вошла вскоре в свою нормальную колею. Попечитель, однако же, не исполнил данного им слова, ссылаясь на то, что он — лицо подначальное, чиновник, зависящий от министра и лишенный возможности действовать самостоятельно.¹¹⁸

После этого мне не оставалось ничего иного, как уйти из университета. После всего, бывшего раньше, измена попечителя переполнила чашу.¹¹⁹ Так как средства мои не позволяли жить самостоятельно, то я еще несколько месяцев раньше заручился обещанием моего близкого друга, председателя Полтавской земской управы, выхлопотать мне место земского энтомолога. В те времена насекомые произ-

водили значительные опустошения на юге России, и мне пришлось заняться вопросом о мерах против этой беды.¹²⁰ Полтавская земская управа выбрала меня на должность местного энтомолога, и я готовился приступить к ней, когда совершилось неожиданное семейное событие, изменившее этот план. Жена моя получила наследство, доходы с которого могли обеспечить наше существование. Мы начали с того, что поехали на Средиземное море, куда я давно стремился с целью продолжения своих научных работ. Таким образом я не сделался полтавским энтомологом.

Мое пребывание в Мессине, о котором я уже повествовал читателям «Русских ведомостей» по случаю мессинского землетрясения, имело последствием то, что из зоолога я должен был превратиться в патолога и бактериолога. Вернувшись в Россию, я снова поселился в Одессе, где устроил маленькую лабораторию на своей квартире. Таким образом шло дело около двух лет, но так как занятия бактериологией требовали больших средств, то мною вместе с двумя моими бывшими учениками было задумано устроить в Одессе бактериологическую лабораторию для открытых в то время Пастером прививок против бешенства, сибирской язвы и пр.¹²¹

Одесское городское управление и Херсонская земская управа дали необходимые денежные средства для осуществления задуманного плана. Покинув государственную службу, я таким образом попал в услужение городу и земству. Поглощенный научной работой, практическую часть, т. е. прививки и приготовление вакцин, я передал моим молодым товарищам. Казалось бы, дело должно было пойти успешно. Вновь возникшее бактериологическое учреждение с жаром принялось за работу, но против него начали оказывать противодействие. Местные представители врачебной власти стали производить нашествия с тем, чтобы усмотреть какое-нибудь нарушение правил. В Медицинском обществе устраивали настоящую травлю против всякой работы, выходящей из новой лаборатории. Инстанции, дававшие средства, требовали практических результатов. Работы же для достижения последних встречали постоянные препятствия.¹²² Для

истребления сусликов, вредящих посевам злаков на юге России, нами было предложено испытать действие бактерий так называемой куриной холеры.¹²³ С этой целью в лаборатории начали производить опыты, но в один прекрасный день мною было получено предписание одесского градоначальника, чтобы немедленно прекратить их. Мера эта была принята по воздействию местных врачей, которые под влиянием фельетона одной петербургской газеты, написанного очень бойко автором, не имевшим понятия о бактериологии, уверили градоначальника, что бактерии куриной холеры могут превратиться в заразное начало азиатской холеры.¹²⁴

Генерал-губернатор, к которому я должен был обратиться, отменил постановление градоначальника, но тем не менее вся эта перипетия не осталась без влияния на деятельность лаборатории. К тому же — и это оказалось особенно важным впоследствии — среди немногочисленных деятелей ее обнаружился глубокий раскол. Лица, взявшие в свои руки прикладную деятельность, перестали работать согласно; я же, погруженный в научную работу, не мог их заменить, и это тем более, что, не имея диплома на звание врача, я не имел права делать прививок людям. Очутившись в таком положении, я увидел ясно, что мне, теоретику, лучше всего удалиться, предоставив лабораторию в руки практиков, которые, приняв на себя ответственность, смогут лучше выполнить свою роль.¹²⁵ Но так как я страстно хотел продолжать свои научные работы, то мне нужно было во что бы то ни стало найти убежище, в котором бы я мог спокойно предаться своим занятиям. В России в то время, кроме одесской, не было другой бактериологической лаборатории. Принц А. П. Ольденбургский задумал основать в Петербурге большой бактериологический институт.¹²⁶ Но проученный одесским опытом и зная, как трудна борьба с противодействиями, возникающими без всякой разумной причины со всех сторон, я предпочел поехать за границу и найти себе там тихий приют для научной работы. Сначала я посетил несколько немецких лабораторий, но тотчас же убедился в том, что условия там для меня совершенно неподходящие.

Оттуда я поехал в Париж, где в то время (в 1887 г.) строился Пастеровский институт.¹²⁷ Увидя, что там готовится большое здание с многочисленными лабораториями, но что в то же время наличный персонал очень невелик, я спросил Пастера, согласился ли бы он предоставить мне одну или две комнаты в новом институте, в которых я мог бы свободно работать в качестве частного лица. Пастер и его сотрудники отнеслись к этому предложению очень сочувственно, и ко дню открытия института (2(14) ноября 1888 г.) мне было предоставлено очень хорошее помещение и предложено звание «заведующего отделением» (chef de service).¹²⁸ Вскоре у меня появились ученики, вследствие чего мне было отведено целое большое отделение института; я был привлечен к чтению лекций, и вот в течение двадцати и одного года я продолжаю занятия, о которых я мечтал всю жизнь. В Париже, таким образом, могла осуществиться цель научной работы вне всякой политической или какой-либо иной общественной деятельности. В России же препятствия, исходящие и сверху, и снизу, и сбоку, сделали подобную мечту невыполнимой. Можно было бы подумать, что для России еще не настало время, когда наука может оказаться полезной. Я с этим несогласен. Я думаю, напротив, что и в России научная работа необходима, и от всей души желаю, чтобы в будущем условия для нее сложились более благоприятно, чем в те времена, о которых я повествовал в предыдущих строках.

Севр,

10 (23) октября 1909 г.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОСЛЕДНИХ ГОДАХ ЖИЗНИ ПАСТЕРА ¹²⁹

Втянутый в изучение заразных бактерий в первый период возникновения медицинской микробиологии и поставленный в необходимость обзавестись для того лабораторией, я с радостью принял предложение Одесского городского управления и Херсонской земской управы заведывать устраиваемой этими учреждениями бактериологической станцией, в которой должны применяться открытия Пастера. Это произошло вскоре после опубликования его метода прививок против бешенства, в 1886 г. Я тогда уже вступил в письменные сношения с Пастером, но впервые я увидел его осенью 1887 г. Придя в маленькую лабораторию барака, расположенного в так называемом Латинском квартале Парижа (на улице Воклена), наскоро устроенного для предохранительных прививок против бешенства, я увидел дряхлого старика небольшого роста с полупарализованной левой половиной тела, с пронизательными серыми глазами, с седыми усами и бородой, в черной ермолке, покрывавшей коротко остриженные волосы с проседью. Поверх пиджака на нем была одета широкая пелеринка. Болезненно бледный цвет лица и утомленный вид подсказали мне, что я имею дело с человеком, которому осталось жить недолгие годы, быть может, лишь несколько месяцев.

Пастер принял меня очень радушно и тотчас заговорил об особенно интересовавшем меня вопросе — о борьбе организма против микробов. «В то время как мои молодые сотрудники очень скептически отнеслись к вашей теории, — сказал он мне, — я сразу стал на вашу сторону, так как я давно был поражен зрелищем борьбы между различными микроскопическими существами, которых мне случалось наблюдать. Я думаю, что вы попали на верную дорогу».

Поглощенный вопросом о предохранительных прививках против бешенства, которые тогда еще находились в первой стадии практического применения, Пастер вскоре заговорил о них и повел меня присутствовать при их выполнении. Он останавливался на малейших подробностях, отчаивался при малейшей неудаче, утешал детей, плакавших от боли, причиняемой впрыскиванием, совал им в руки медные деньги и конфеты. Легко было видеть, что Пастер всем существом своим предан делу и что страстность его натуры не уменьшилась с годами.

На другой день Пастер пригласил меня с женой к обеду у него, в его квартире в Нормальной школе. Видя его необыкновенную простоту в обращении, мне не пришло в голову, что обед будет носить сколько-нибудь парадный характер. Поэтому я был уверен, что, надевши черный сюртук, я окажусь одетым вполне подходящим образом. Каково же было мое удивление и смущение, когда, поднимаясь по лестнице, я встретил расфранченных дам и кавалеров во фраках. Я тотчас же собрался вернуться домой, чтобы надеть фрак, который случайно оказался у меня, ввиду того, что я только что перед Парижем участвовал в Международном гигиеническом конгрессе в Вене.¹³⁰ Пастер стал меня успокаивать, а для того чтобы я почувствовал себя непринужденно, он сам пошел переодеться и надел сюртук. Обед и послеобеденное сидение прошли в оживленной беседе, так что мое смущение совершенно улеглось. Но в этот вечер обнаружилась черта, очень характерная для Пастера и для французов вообще. За обедом Пастер вручил доктору Терильону (давно умершему хирургу, прикомандированному к Пастеровскому институту) исходатайствованный им у министра орден Почетного легиона, что произвело всеобщий восторг и умиление. А после обеда, думая доставить моей жене и мне особенное удовольствие, он стал нам показывать витрину с многочисленными полученными им орденами. Для того чтобы произвести на нас особенное впечатление, он вынул какой-то орден на цепи, сделанный из украшений в виде маленьких роз, и торжественно заявил, что это — очень важный бразильский орден, которым награждены только два

лица: он и какой-то бразильский адмирал. Я не мог удержаться, чтобы не заметить ему, что я не вижу для Пастера особенной чести в том, чтобы быть поставленным на одну доску с адмиралом, хотя бы и очень достойным.

Преклонение перед орденами у Пастера играло очень важную роль. Вскоре после моего переселения в Париж он заботится о том, чтобы меня наградили Почетным легионом. Раз как-то, увидя его удрученным в сильной степени, я спросил его, что с ним.

«Можете себе представить,— ответил он,— я только что вернулся из министерства, где мне наотрез отказали дать вам сразу офицера Почетного легиона, а, ссылаясь на какие-то нелепые правила, согласились наградить вас лишь орденом Кавалера». Я не мог удержаться от улыбки и стал всячески успокаивать Пастера, уверяя его, что я отношусь очень равнодушно к подобного рода отличиям. Вряд ли Пастер поверил моей искренности и не подумал, что я так говорю лишь из деликатности по отношению к нему. И впоследствии, за 26 лет моей жизни во Франции, я не раз мог убедиться в том преувеличенном значении, которое придается в ней орденам.

К счастью, Пастера волновали и трогали не только заботы о Почетном легионе. В то время, когда я с ним познакомился, и вообще в последние годы его жизни, его больше всего интересовали результаты прививок против бешенства и судьба основанного им института. Пастер не отличался большой практичностью и потому не удивительно, что организация этого учреждения была далека от совершенства. Независимый характер Пастера не мог помириться с требовательностью членов Парижского городского управления, которые, прежде чем решить вопрос о бесплатной уступке земли для института, стали вмешиваться в деятельность великого ученого и задумали проверять книги, в которых записывались прививки против водобоязни. В основе неприязни со стороны городского управления не малую роль играла, как почти во всех делах во Франции, политическая подкладка. Пастер считался монархистом и чуть не клерикалом, тогда как городские гласные были большею частью крайние ради-

калы и социалисты.¹³¹ Все это в конце концов привело к тому, что город отказался уступить в дар участок земли, вследствие чего последний пришлось купить за наличные деньги, что значительно уменьшило средства зарождающегося учреждения. Постройка института была задумана в слишком больших размерах, вследствие чего, когда он был закончен в 1889 г., осталось лишь очень немного денег из подписной суммы на его содержание. Отсюда заботы Пастера о приискании новых источников доходов, заботы, которые немало отравляли последние годы его жизни.¹³²

Выработка способа предохранения от бешенства была последней законченной работой Пастера. Хотя он при исполнении ее и пользовался сотрудничеством такого мастера, как доктор Ру, но не подлежит сомнению, что гениальность Пастера сказалась и в этой лебединой его песне.¹³³ Ру уверял меня, что без постоянного участия Пастера, направлявшего и воодушевлявшего своих учеников, они никогда не дошли бы до тех результатов, которые были ими достигнуты.

Хлопоты по делу предохранительных прививок и заботы о будущем института и особенно расстроенное здоровье привели к тому, что Пастер должен был навсегда отказаться от научной деятельности. Приготовленная для него лаборатория, смежная с его квартирой, не могла служить ему. Как-то раз ему доставили индеек, погибших от инфекции. Он пожелал вместе со мной изучить причину этой болезни, но из этой работы не получилось положительного результата.

Не увенчалась успехом и его попытка лечения падучей болезни посредством впрыскивания мозговой эмульсии. Кто-то из числа врачей, посылавших Пастеру пациентов для предохранения от бешенства, заметил, что они влияли очень благоприятно на падучие припадки. Пастер по своему обыкновению сразу увлекся этим, и со свойственными ему жаром, энергией и отдачей всего себя на дело принялся за лечение. Он стал во всех больницах отыскивать подходящих больных, следил подробно за частотой припадков и за влиянием на них прививок мозгового вещества, но в конце концов он больных не вылечил, а свое здоровье еще больше

расстроил. От беспокойства и волнения у него сделалась упорная бессонница, вследствие чего его родные и мы все, близкие ему, настояли на том, чтобы он прекратил затеянную работу.

Видя себя беспомощным для продолжения столь дорогой ему деятельности, Пастер стал сильно грустить. Он чувствовал, что не выполнил всего того, что ему хотелось еще совершить, и эта неудовлетворенность мучила его. Напрасно мы убеждали его, что он сделал так много для науки и человечества, что со спокойной совестью может почтить на лаврах. Все это несколько не удовлетворяло его ненасытной потребности к делу, которое стало его второй натурой.

Не будучи в состоянии сам продолжать работу, Пастер нередко подымался в мою лабораторию, расспрашивал о моих занятиях и предавался воспоминаниям о прошлом. Свое воодушевление и необыкновенную энергию он старался вложить в своих учеников и сотрудников. Он никогда не отравлял скептицизмом, столь свойственным достигшим апогея своей славы ученым, а, наоборот, всегда поддерживал дух и надежду на успех. Когда Ру удалось получить яд дифтеритной бактерии, Пастер все время побуждал его как можно скорее и энергичнее приняться за предохранение животных от дифтерита. Озабоченный успехом института, он очень поощрял работавших в нем, надеясь обеспечить этим будущность излюбленного им учреждения.¹³⁴

По утрам Пастер спускался вниз и присутствовал при прививках против бешенства. По окончании их он подымался в лабораторию и осведомлялся о ходе работ. После же завтрака он в дни заседаний регулярно посещал Академию наук и так называемую Французскую академию, в которых состоял членом. Раз в неделю он отправлялся в земельный банк (*Crédit foncier*), где его выбрали в члены правления. По этому поводу на него раздавались нарекания, указывавшие на то, что ученый не должен принимать участия ни в каких ненаучных, особенно денежных, делах. Но при этом забывали, что у Пастера была семья (сын, дочь и двое внуков) и жизненные условия, требовавшие немалых расходов. Я помню, что когда здоровье Пастера уже очень пошатну-

лось и он мог выезжать только в экипаже, то возник вопрос о найме ему на год кареты в одну лошадь. Это было целое событие, потребовавшее долгих расчетов и размышлений и только после продолжительных переговоров увенчавшихся успехом. Со временем, когда роль науки будет достаточно оценена, покажется невероятным, чтобы такой человек, как Пастер, принесший столь неисчислимые блага людям, мог на высоте своей славы и на закате жизни озабочиваться вопросом об экипаже.

Вскоре после основания института участие Пастера в его деятельности и управлении им сделалось скорее прозрачным. Во многом его заменил вице-директор Дюкло, но и он ступал перед Ру, который собственно сначала и до сих пор всегда был настоящим директором. Заседания совета института были простой формальностью, на которых подтверждались мероприятия Ру. Когда к Пастеру обращались с каким бы то ни было вопросом, он постоянно отсылал к последнему.

Так как в то время, о котором я говорю (начало девятых годов), бактериология разрабатывалась повсюду с лихорадочной поспешностью, Пастеру было трудно самому следить за движением науки, и он часто обращался к кому-нибудь из нас, особенно когда к нему являлись посетители. Я помню, он как-то раз прислал за мной, когда у него сидел какой-то совершенно в науке не известный, но очень важный доктор из Мексики. Я застал его в кабинете Пастера рассевшимся в кресле, с огромной золотой цепочкой и необыкновенно самоуверенным видом. Он явился с проектом нового лечения одной очень распространенной инфекционной болезни и был крайне удивлен, что Пастер никогда не слышал о его методе. «Как странно,— сказал он,— что, в то время как мы в Мексике очень осведомлены о ваших открытиях, вы, г. Пастер, совершенно не знакомы с моими работами». Разумеется, из предприятия мексиканского эскулапа ничего не вышло, и теперь даже трудно припомнить, в чем заключалась его система лечения.

Пастера осаждали всевозможные посетители, обращавшиеся к нему с самыми невероятными просьбами и предло-

жениями. Его также забрасывали письмами, на которые он отвечал с чисто ангельским терпением. Но по вечерам он оставался в одиночестве с бесконечно преданной ему женой. Последняя читала ему вслух, большей частью исторические воспоминания, причем Пастер нередко засыпал под монотонные звуки ее чтения. Изредка я заходил к нему вечером, чтобы развлечь его беседой о новых открытиях и вообще о движении в науке. Эти рассказы, видимо, занимали его.

Постепенно силы Пастера стали падать. Время от времени повторявшиеся мелкие мозговые кровоизлияния окончательно разрушили как физическое здоровье, так и умственную мощь этого гиганта мысли и дела. Однажды осенью я застал Пастера в постели в очень ослабленном и угнетенном состоянии. Несмотря, однако, на общий упадок сил, он очень оживился, когда я сообщил, что в газетах пишут о проекте устроить ему грандиозное чествование по поводу предстоящего семидесятилетия со дня его рождения. При этом еще раз сказалось пристрастие Пастера ко всякого рода внешним проявлениям почтения. Все в доме зашевелилось в заботах о возможном сохранении здоровья и сил предстоящего юбиляра. На нем еще более сосредоточилось участливое внимание всех окружающих. Юбилей, действительно, состоялся 22 декабря 1892 г., но, боже, в каком виде предстал бедный Пастер перед многочисленной публикой, собравшейся, чтобы его поздравить. Бледный, больной, дряхлый, он не мог без слез выслушивать многочисленные поднесенные ему адреса и был не в состоянии сам прочитать заранее написанное им выражение его благодарности.

Насколько я мог заметить, старость Пастера не была счастливой. Несмотря на почитание, которое окружало его в семье, и на бесконечное уважение и преданность со стороны всех соприкасавшихся с ним, он все же считал свою роль незавершенной и вечно мучился, нередко даже без достаточного к тому повода.

Вскоре после юбилея началось медленное угасание Пастера, и он постепенно умирал вплоть до настоящего конца, наступившего 28 (16) сентября 1895 г. После очень холод-

ной первой половины лета в конце наступила сильная жара. Пастер с семьей проводил каникулы в Вильнев-л'Этан (Villeneuve l'Etang), в помещении, служившем некогда для конюхов Наполеона Третьего. Около станции Гарш, по дороге в Марли-ле-Руа и Сен-Жермен, находится чудный парк, в котором когда-то был дворец, служивший летним местопребыванием императора. После войны дворец этот был разрушен, но постройки для прислуги сохранились в целости. Когда Пастеру понадобилось просторное и удаленное от Парижа помещение для многочисленных собак, служивших для разработки вопроса о прививках бешенства, то правительство уступило ему эту бывшую резиденцию императора. В ней были устроены собачники и сараи для мелких лабораторных животных. Для этого послужили прежние конюшни, а находившийся над ними очень легко когда-то построенный этаж с целым рядом комнат был занят Пастером с семьей (женой, дочерью с мужем и детьми) и ветеринаром, заведующим животными. К концу жизни Пастера в конюшне, находившейся под его квартирой, были помещены лошади, служившие для приготовления лечебных сывороток против дифтерита и столбняка. Лошади эти производили сильный шум, а запах от их навоза подымался вверх, и все это вместе очень беспокоило Пастера и его близких. Но, несмотря на эти неприятности, Пастер любил свою летнюю резиденцию, так как она напоминала ему его прежнее рабочее время, и к тому же он находился в обстановке, соответствовавшей его вкусам; приготовление лечебных сывороток, разведение лабораторных животных, разговоры с ветеринаром и другими служащими, — все это развлекало его.

Каждое лето Пастер ездил в Вильнев-л'Этан, и каждый раз осенью он возвращался оттуда с подкрепленными силами. Но осень и зима в Париже вредно влияли на него. Болезнь, которая так подтачивала его здоровье, имела очень давнее происхождение.¹³⁵ Она была причиной постигшего удара, от которого он хотя и оправился, но не настолько, чтобы не чувствовать его последствий всю остальную жизнь. Полупаралич левой половины тела мешал ему выполнять лабораторную работу и вынуждал его пользоваться услугами ок-

ружающих. Такое состояние, с временными ухудшениями и улучшениями, длилось в продолжение многих лет.

Когда весной 1895 г. Пастер снова поехал в Вильнев, то никому не могло притти в голову, что он более не вернется в Париж. Летнее пребывание на даче не только не восстановило его сил, но, напротив, ослабило его сильнее прежнего. В начале сентября я получил письмо от Ру (я тогда был на каникулах в Дофинэ), в котором он предупреждал, что состояние Пастера внушает серьезное опасение. Вернувшись тотчас же в Париж и посетив Пастера в Вильневе, я удивился, застав его под тенью огромного темнокрасного бука в сравнительно бодром состоянии. Он был весел, смеялся и шутил, и хотя речь его и была несколько затруднена, но ничто, повидимому, не оправдывало опасений Ру. Но такое состояние продолжалось недолго. Новое мозговое кровоизлияние усилило параличное состояние и уложило его в постель, с которой он более уже не поднимался. Будучи долгое время подвержен хроническому воспалению почек (у него постоянно находился, хотя и не в большом количестве, белок в моче), Пастер скончался в припадке уремии, окруженный всеми родными и близкими. Когда накануне смерти ему предложили немного молока, он с трудом ответил, что не в силах выпить его. Коматозное состояние продолжалось не менее суток. В это время к нему привели знакомого ему монаха. На вопрос последнего: «Страдаете ли вы?», Пастер ответил: «Да». Это все, чего от него мог добиться служитель церкви.

Из этого маловажного события составили целую историю о том, что Пастер перед смертью пожелал причаститься и исповедаться, что он скончался в лоне католической церкви, и многое другое в таком же роде. Рассказ об этом подогрел укоренившееся во многих умах убеждение, что Пастер всю жизнь был ревностным католиком, чуть не религиозным фанатиком. В действительности он избегал разговоров на религиозные темы и всегда обнаруживал чрезвычайную терпимость. Когда при мне ему случалось заговорить о религии, то он всегда отделялся самыми общими фразами на тему о бесконечности и о том, что наука

еще не в состоянии решить множества самых важных вопросов. Упрек Пастеру в том, что свои исследования с целью разрушить веру в существование произвольного зарождения и доказать, что брожение составляет результат жизнедеятельности микробов, он предпринял ради противодействия материализму, неоснователен. Пастер много раз настаивал на том, что в научную работу никогда не следует вводить религиозных мотивов, и сам строго держался этого правила. Предвзятая мысль его о несуществовании при условиях действительности произвольного зарождения была подсказана ему тем, что для возбуждения брожения в бесплодной питательной среде ее необходимо было засеивать некоторым количеством живого бродила. Без последнего среда никогда самостоятельно не изменялась. Соотношение брожения с наличием живых микробов (мертвые дрожжи и бактерии никогда не вызывают брожения) привело его к убеждению, что первое обусловлено жизнью. Но Пастер никогда не утверждал, чтобы не существовало неживого бродила, т. е. чтобы живые микробы не были в состоянии влиять на органические вещества посредством вырабатываемого ими химически действующего фермента. Он только подвергал критике работы о нахождении подобных веществ.¹³⁶ Как одно из доказательств в пользу того, что Пастер вовсе не настаивал на виталистической точке зрения, могу привести его теорию о приобретенной невосприимчивости против инфекционных болезней, которая была придумана им на чисто химической почве. В действительности же в этой невосприимчивости участвуют жизненные процессы, которые Пастеру даже не приходили в голову.¹³⁷

Зять Пастера, писатель Вальри Радо, бывший самым близким другом его, уверяет, что Пастер веровал в загробную жизнь. Но и он не разделяет мнения о католической религиозности своего тестя. Если Пастер соблюдал некоторые религиозные ритуалы (так, например, он ел постное по пятницам), то это происходило исключительно ради уступчивости женским членам его семьи, которые, действительно, были очень религиозны. Эта снисходительность его доходила до того, что он перед сном повторял за своей женой вечер-

нюю молитву, никогда не будучи в состоянии ее запомнить.¹³⁸

Пастера упрекали еще в излишнем монархизме. Сын унтер-офицера наполеоновской эпохи, он, как впрочем и огромное большинство французов, сохранил культ «великого императора». Он чувствовал себя привольно у Наполеона Третьего и с большим удовольствием вспоминал часы, проведенные при дворе его, где его просили делать научные беседы. Пастер вообще был приверженцем всякого существующего правительства, и потому он легко освоился и с Третьей республикой. Прежде всего Пастер был страстный патриот и ненавистник немцев.¹³⁹ Когда ему приносили с почты немецкую книгу или брошюру, он брал ее двумя пальцами и отдавал мне или отбрасывал с чувством великого отвращения. Это не мешало ему, однако же, принять мое предложение отправить Коху поздравительную телеграмму после оповещения им об открытии лекарства против бугорчатки.

В то время, когда я попал в Пастеровский институт, уже ходили толки о франко-русском союзе, к которому он относился с необыкновенным увлечением. По этому поводу припомню следующий случай. В числе моих учеников находился в те годы один русский доктор, отличавшийся крайней неаккуратностью. Уехав на несколько месяцев из Парижа, он оставил свое место в моей лаборатории заполненным массой старых препаратов и никому ненужным хламом. Когда по возобновлении занятий после каникул потребовались места для новых учеников, я велел очистить стол и шкаф неисправного доктора и перенести его вещи в другую комнату. По истечении некоторого времени этот доктор, однако же, вернулся и, узнав происшедшее, напал на меня самым грубым образом. Я, разумеется, не остался у него в долгу и выпроводил его из института. На другой день приходит ко мне Пастер, ужасно взволнованный, с двумя большими исписанными листами в руке. «Что вы наделали,— обратился он ко мне,— вы выгнали князя, доктора А., отсюда, между тем как он командирован русским правительством. Прочитайте-ка его письмо ко мне, а вот и мой ответ,

который, я уверен, вы вполне одобрите». В письме к Пастеру князь горько жаловался на меня и грозил, что русское правительство не оставит так этого дела, намекая, что последнее может даже повлиять на франко-русскую дружбу. В своем проектированном ответе Пастер стал усиленно извиняться перед грозным князем и уверять его в самых лучших чувствах к нему. Я, разумеется, не согласился на отправку такого письма, написанного почти в унижительном тоне, и убедил Пастера в том, что мой противник вполне заслужил наложенную кару, что командированный за границу доктор — кавказский князь, человек крайне невосдержанный и не серьезный работник — не должен быть терпим в нашем институте. Мне стоило не мало труда, чтобы успокоить Пастера и уговорить его изменить редакцию своего ответа. Вскоре Пастер убедился, что уход раздраженного князя от нас ничуть не помешал франко-русскому союзу.

У Пастера, разумеется, как и у всех на свете, были свои слабости, но не подлежит сомнению, что, помимо огромного блага, принесенного им человечеству, это был во всех отношениях превосходный человек с необыкновенно отзывчивым и добрым сердцем.¹⁴⁰

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ ПАСТЕРОВСКОГО ИНСТИТУТА ¹⁴¹

I

На-днях Парижскому Пастеровскому институту исполнилось двадцать один год. В свое время официальное открытие было отпраздновано самым торжественным образом в присутствии президента республики Сади Карно, министров, посланников иностранных держав и многочисленных представителей науки со всех стран света. Пастер, растроганный до слез, принимал множество адресов и поздравлений. От волнения он не мог прочитать составленную им речь и передал ее своему сыну.

Теперь нравы переменялись. Годовщина института прошла совершенно незамеченной, и я думаю, что огромное большинство его многочисленного персонала даже не знало об этом событии. За эти двадцать один год состав института очень значительно увеличился и настолько изменился, что из лиц, участвовавших при открытии его, осталось лишь трое: нынешний директор института доктор Ру, заведующий лабораторией брожений Фернбах и пишущий эти строки.

Но не только внешняя картина института, а и внутреннее содержание его во многом изменилось. Рядом с эффективной внешностью, силы и средства его были очень слабы. Удрученный хроническим недугом, Пастер уже не был в состоянии работать. Еще со свойственной ему страстностью он следил за прививками для предохранения от водобоязни и волновался при малейшей неудаче. Одно время он пробовал даже заняться лечением падучей болезни, но эти опыты до такой степени возбуждали его нервную систему и вредно отражались на его расшатанном здоровье, что все окружающие его уговорили бросить это предприятие. Не будучи в состоянии работать сам, но, еще пламенно любя науку и

живо интересуясь ею, Пастер обхаживал лаборатории и отводил душу воспоминаниями о своей прежней деятельности.

Остальной персонал института был очень немногочислен, и к тому же большинство членов его уже глядело в сторону, видя, что институт слишком беден, чтобы обеспечить существование. Из двух с половиной миллионов франков, собранных по подписке на основание института, полтора миллиона ушло на покупку земли и постройку здания. Процентом с оставшегося миллиона, 30 000 франков, было недостаточно на покрытие текущих расходов. Правительственная субсидия, тоже в 30 000 франков, позволяла кое-как сводить концы с концами, но об организации сколько-нибудь широкой деятельности института не могло быть и речи. Положение это чрезвычайно удручало Пастера, который все придумывал разные средства, чтобы улучшить материальное положение его любимого детища. Его всемирная слава и бесконечные связи были недостаточно сильны, чтобы развязать кошельки богатых людей. С целью заинтересовать их Пастер пригласил наиболее знатных из них в состав совета института. В числе членов его был знаменитый Альфонс Ротшильд, на которого особенно устремлялись взоры Пастера. Но, изредка участвуя в заседаниях совета, этот богач вынимал из кармана не бумажник, а часы, выражая нетерпение, что заседание еще не кончилось.

Ухаживание за сильными мира сего не выручило института из беды. Особенно памяты попытки Пастера выудить кое-какое пособие от барона Гирша, одного из самых богатых людей того времени. Стоило огромного труда, чтобы заставить его посетить институт. Все думали, что, раз побывав в нем, Гирш не замедлит раскошелиться. Но ожидания эти не сбылись. Барон с чрезвычайно надменным видом подошел к Пастеру, сказав, что им взаимного представления не нужно, так как оба они всем хорошо известны. Бегло осмотрев институт и взглянув на коллекцию микробов, которые были ему показаны под целой батареей микроскопов, Гирш удивленно спросил: «Какая может быть от всего этого польза?» — и поспешно ушел.

Пастер все надеялся увеличить средства института и ку-

пить огороды, которые зеленели против его окон, но он так и умер, не дождавшись исполнения своей мечты. Материальное положение института было до того печально, что когда понадобилось купить двух лошадей для попыток приготовления первых лечебных сывороток, то Ру должен был это сделать из собственных, крайне скудных средств. Но эти-то лошади и положили начало благополучию института. Они послужили для проверки открытия Беринга об образовании в крови особенно приготовленных животных лечебного вещества против столбняка и дифтерита. Но в то время, как целебное действие кровяной сыворотки лошади против первой болезни оказалось незначительным, против дифтерита она проявила магическую силу. Ввиду такого результата было куплено еще несколько лошадей, и вскоре институт стал продавать большое количество противодифтеритной сыворотки, что дало ему возможность стать на ноги, т. е. увеличить работающий персонал и вообще несколько расширить свою деятельность. Затем поступили значительные пособия от одной дамы, а также от баронессы Гирш, вдовы банкира, о котором было рассказано выше.

II

Бедственный период института продолжался около семи лет, затем наступило сравнительное благоденствие и, наконец, к сроку своего совершеннолетия институт разбогател. Вот как это случилось.

В пятидесятых годах прошлого столетия в Париж явился из Бордо, чуть не пешком, молодой еврей по имени Ифла, сын совершенно бедных родителей. Поступив на службу в банк, к другому бордоскому еврею, очень богатому, он стал заниматься разными спекуляциями, причем одно время чуть не угодил в тюрьму. Мало-помалу он сам разбогател. Сделавшись обладателем нескольких миллионов франков, он занял видное положение среди банковских деятелей, и тут-то к нему со всех сторон приступили бедные родственники, жаждавшие денежной помощи. Отличавшийся необыкновенной скупостью, Ифла вскоре перессорился с ними.

Овдовев очень рано и не имея детей, он стал придумывать о помещении своего состояния на случай смерти, причем одной из главных целей было — как можно больше обойти надоевших ему родственников. Вместе со скупостью у Ифла развилось необыкновенное тщеславие. Ему хотелось, чтобы его имя перешло в потомство, и он все придумывал средства добиться этого. По совету одного из друзей он подарил большую сумму совету пяти парижских академий, с тем, чтобы каждые три года из процентов с нее выдавалась премия в сто тысяч франков. В первый раз премия эта была выдана доктору Ру, бывшему тогда вице-директором Пастеровского института, и, так сказать, преемнику пастеровской традиции. Ру отдал свою премию институту для производства новых работ.¹⁴² На эти деньги было куплено много очень дорого стоящих человекообразных обезьян, на которых были проделаны опыты с прививкой сифилиса, давшие очень интересные результаты. Когда Ифла, уже задолго перед тем переименовавший свою фамилию на более громкую — Озирис, узнал о подарке Ру, человека, не имеющего состояния, то он не хотел этому поверить. Но вскоре он убедился в том, что есть люди, для которых общее дело выше личного и, хотя сам Озирис не принадлежал к числу таких людей, тем не менее симпатии его стали все более и более клониться в пользу Пастеровского института.

Очень состарившись (ему подошло уже к восьмидесяти годам), Озирис стал почти исключительно заботиться о передаче имущества, доросшего уже до сорока миллионов франков, в хорошие руки. Изверившись в правительстве, в учреждении общественной помощи (*Assistance publique*), он, по совету близких ему лиц, решил оставить значительную часть своего состояния Пастеровскому институту для изучения главнейших человеческих болезней: бугорчатки, сифилиса и злокачественных опухолей. Гораздо меньшую долю имущества он завещал в пользу своих родных, а также на разные благотворительные учреждения, на постройку памятников и пр.

Последние месяцы своей жизни Озирис вошел в сношения с доктором Ру и со мною для словесной передачи его

пожеланий. В его мысли было оставить институту около двадцати миллионов франков, но по окончательной ликвидации наследства на долю учреждения пришлось слишком тридцать два миллиона.

Формальности по этому делу затянулись в течение двух с половиной лет, но, наконец, нынешней весной было объявлено, что институт утвержден в своих правах. Хотя и до сих пор он еще не получил в свою кассу следующих ему доходов, но уже с некоторых пор заметно влияние большого наследства. Работы в лабораториях оживились, прежняя стесненность в средствах стала проходить, и около двух лет назад институт приобрел по соседству большой кусок земли с готовым зданием для новых лабораторий.

III

После всяческих перипетий институт к своему ссвершеннолетию почувствовал себя вполне независимым в материальном отношении. Подобно тому как дети к именинам своих родителей подносят им выученные стихи, и мне захотелось ознаменовать наступление новой эпохи в жизни института каким-нибудь делом. Оставшись все лето в Париже, я решил посвятить это время на исследование холеры детей, губящей их в первый год жизни. Несмотря на то, что гигиенические меры все же начинают постепенно распространяться в народе, смертность от этой болезни еще очень значительна. Ежегодно от нее умирает в Париже более двух тысяч детей. Но, помимо своего практического значения, изучение детской холеры представляет и значительный общий интерес. После тщательных поисков за бактериями, которым можно было бы приписать эту болезнь, многие ученые изверились в бактериологии и решили, что детская холера зависит от отравления продуктами пищеварения в связи с действием летних жаров.

Поставив изучение этой болезни на опытную почву, нам удалось вскоре доказать, что она может быть воспроизведена у маленьких кроликов-сосунов и у маленьких шимпанзе. Детская холера оказалась, таким образом, такой же чисто

инфекционной болезнью, как и настоящая азиатская холера. Но в то время как последняя причиняется коховским вибрионом, поступающим в тело человека с водой или, реже, с сырой пищей, детская холера оказалась зависящей от очень распространенной в природе бактерии, известной под названием протей (*Bacillus proteus*). Каким же образом этот последний заражает маленьких детей? Ввиду того что детская холера гораздо чаще и губительнее у детей, вскармливаемых коровьим молоком, чем у кормящихся грудью; врачи давно уже решили, что причина болезни должна заключаться в коровьем молоке. Поэтому они предписали кипятить молоко и соску, даваемые детям. Мера эта оказала полезное действие, но не прекратила эпидемического распространения детской холеры. Оказалось, что нередко, несмотря на самые строгие меры относительно молока, дети все же заражаются детской холерой и умирают от нее. Притом же и среди грудных детей нередки случаи этой болезни. Так, из 1210 детей, умерших от нее в Париже в течение первых десяти месяцев текущего года, 229 были кормлены грудью матери или кормилиц.

Открытие, что детская холера производится протеем, осветило темную сторону относительно ее распространения. Дети заражаются им лишь в редких случаях через посредство молока; чаще же всего они заболевают вследствие прикосновения к их рту и рукам рук, загрязненных протеем. Эта бактерия, водящаяся в навозе, переносится в теплое время мухами на пищу и с помощью последней поступает в кишечный канал матерей и вообще лиц, ухаживающих за младенцами. Хотя взрослые люди заболевают сами лишь в редких случаях от протей (иногда он причиняет так называемую местную холеру — *cholera nostras*), но эта бактерия легко размножается в их теле и может переходить из него на руки и на лицо младенцев.

В видах предохранения от детской холеры очень важно поэтому не только кипятить коровье молоко, даваемое детям, но и тщательно мыть руки как детей, так и лиц, ухаживающих за ними, а также по возможности оберегать их от загрязнения мухами.

Так как протей переносится в теплое время главным образом с виноградом и сырами, то желательно, чтобы виноград перед едой опускали на несколько секунд в кипящую воду. Корку сыров следует счищать или, еще лучше, обжигать на огне. Можно надеяться, что соблюдение указанных мер уменьшит детскую холеру еще более, чем это сделало кипячение молока и соски.

Результаты нашего исследования были сообщены мною в последнем заседании Парижской медицинской академии, но, ввиду того что желательно ознакомление с ними и возможно широкой публики, я воспользовался для этого любезным гостеприимством «Русского слова».

Как видно из предыдущих строк, деятельность Пастеровского института не ограничивается тремя бичами, намеченными Озирисом в его духовном завещании. Она распространяется и на множество других болезней. Есть поэтому основание надеяться, что поступок бывшего еврейского банкира принесет обильные плоды на пользу всего человечества.

Севр,

15 (28) ноября 1909 г.

ПАСТЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ В ПАРИЖЕ

(По поводу его 25-летия)¹⁴³

За последнее время в газетах и в публике стали много говорить об институте, открытом четверть столетия назад для исследования инфекционных болезней и названном в честь его основателя Пастеровским. Нужно, прежде всего, заметить, что сам институт совершенно неповинен в этом газетном шуме, поднятом по его поводу. «Умысел другой тут был». Высокопоставленные особы, совершенно непричастные к институту, почему-то пожелали наградить некоторых близких им лиц орденами и в поисках повода к этому воспользовались предстоящим двадцатипятилетием Пастеровского института. У парламента был испрошен новый закон об ассигновании значительного количества орденов Почетного Легиона разных степеней, вследствие чего возникли оживленные переписка и бесконечные толки о лицах, подлежащих награде. В результате оказалось, что рядом с несколькими членами Пастеровского института большинство орденов было ассигновано лицам, совершенно непричастным к нему, хотя и получившим отличие по поводу его двадцатипятилетия. Обстоятельство это произвело такое возбуждение среди ученой и неученой братии, что можно было подумать о каком-нибудь чрезвычайно важном событии.

Поразительна та необыкновенная роль, какую во Франции играют ордена. В школах ими награждают детей, начиная с крошечного возраста, приучая их придавать этим знакам отличия особенное значение. Одно из первых впечатлений моего пребывания в Париже соединено с получением уже давно умершим французским хирургом ордена кавалера Почетного Легиона. В конце обеда у Пастера, на котором

присутствовало довольно много близких к нему лиц, с особенно торжественным видом он вынул небольшой ящичек и передал его хирургу.¹⁴⁴ Восторг последнего превзошел всякую меру. Он и его жена стали целовать руки Пастеру и провозгласили, что этот день — лучший в их жизни. Все это было совершенно искренно и серьезно.

После этого мне неоднократно приходилось видеть примеры чрезвычайно важной роли, какую во Франции играют ордена, хотя в присуждении их нередко участвуют мотивы, ничего общего не имеющие с существом дела, как это и произошло в настоящем случае. Но так как по поводу этих орденов внимание публики было обращено на Пастеровский институт, то, быть может, ей будет небезынтересно получить о нем некоторые сведения. Из числа лиц, принадлежащих к этому учреждению за все время его существования, нас осталось всего трое. Мне поэтому очень близко известна его история за эту четверть века. Знакомство с ней может содействовать сближению публики с наукой, что очень важно в интересах общего прогресса.

Поводом к учреждению Пастеровского института послужило открытие Пастером способа предохранения лиц, рискующих заболеть бешенством. Эта работа была лебединой песнью великого ученого, который потратил всю свою жизнь на благо человечества. После оспопрививания, разработанного и введенного Дженнером, это было первое важное приобретение науки, принесшее непосредственную пользу в борьбе против заразных болезней человека помощью предохранительных прививок. Но в то время как оспенная вакцина извлекалась из организма теленка или человека и прививалась таковой, предохранительное вещество против бешенства готовится особым способом, посредством высушивания заразного материала при определенных условиях. В этом заключалось открытие нового пути в медицинской науке, и поэтому понятно то огромное впечатление, которое оно произвело среди ученых и в публике. Под влиянием этого впечатления была открыта подписка для основания особого учреждения, в котором должны были произ-

водиться предохранительные прививки против бешенства и, кроме того, новые исследования о заразных болезнях. Для этого было собрано около миллиона рублей и куплен участок земли в южной части Парижа, на котором начали строить здание в стиле Людовика XIII. Собственно Пастеровский институт существует уже более двадцати пяти лет, так как еще в то время, когда только что начинали закладывать новое здание, вывеска с этим названием уже украшала маленький барак, нанятый в Латинском квартале (на улице Воклен), приспособленный к прививкам против бешенства. Научные же работы производились в старой лаборатории Пастера в Нормальной школе.

Постройка нового института затянулась довольно долго, и только осенью 1888 г., 14 ноября, могло быть сделано его официальное открытие, обставленное очень величественно. Под председательством президента республики Сади Карно, было открыто заседание, на которое были приглашены министры, члены парламента и видные представители науки, медицины, финансового и промышленного мира. Особенно памятна фигура Рикора, знаменитого венеролога, которому тогда было более 80 лет и который вошел, совершенно дряхлый, опираясь на руку своего служителя. Было произнесено несколько красноречивых речей, в которых воздавалась хвала Пастеру, и, разумеется, было роздано несколько орденов Почетного Легиона. Пастер прочитал прочувственную речь, в которой предостерегал своих учеников от скоропелого увлечения и настаивал на патриотических чувствах.

Вся эта церемония сошла очень торжественно, но на душе у стоящих близко к делу не могло не быть тревожного чувства при вопросе о том, что ожидает новый институт, привлекий внимание всего образованного мира. Пастер в то время уже был совершенно не у дел. Его хроническая болезнь состарила его преждевременно. Сотрудников было очень мало и к тому же некоторые из них уже покинули лабораторию. Собранные по подписке деньги были почти целиком потрачены на постройку здания, так что приходилось рассчитывать каждую копейку. Все это озабочивало, прежде

всего самого Пастера. Его главное внимание было направлено к тому, чтобы добыть новые денежные средства. Энтузиазм публики быстро охладел; богачи, привлеченные к управлению институтом, не откликались на зов Пастера. Чтобы помочь этому, нужно было поразить публику каким-нибудь новым блестящим открытием и расшевелить ее при помощи газетных писателей.

Такое положение, приводившее бедного Пастера в отчаяние, продолжалось несколько лет. Выйти из него удалось лишь после открытия сыворотки для лечения дифтерита. Сделанное Берингом в Берлине, оно основывалось на работах Ру и Иерсена, выполненных в Пастеровском институте. Эти два ученых впервые открыли яд, посредством которого дифтеритная бактерия оказывает свое губительное действие. Только после этого можно было искать противоядия против него, что и было сделано Берингом. Но хотя уже в Германии стали пробовать противодифтеритную сыворотку для лечения дифтерита, однако окончательно и систематически этот вопрос был разрешен Ру через пять лет после открытия Пастеровского института. Его сообщение на съезде в Будапеште обратило на себя всеобщее внимание, а французские журналисты в пылу патриотического восторга приписали все открытие Ру. Когда Пастер стал упрекать одного из репортеров в том, что он написал неправду, то последний ответил: «Ах, дорогой учитель, правда ведь не интересует публику!». Результатом газетного шума явилось то, что, по почину «Figaro», было собрано более миллиона франков для приготовления противодифтеритной сыворотки в Пастеровском институте. Несмотря на противодействие со стороны аптекарей и немалого количества врачей, это лекарство быстро распространилось повсюду и сделалось вскоре главным источником дохода института. Материальное существование последнего этим вполне обеспечивалось, но нельзя было и думать, о чем так мечтал Пастер, чтобы купить участок земли на противоположной стороне улицы.

Только после смерти великого учителя в 1895 г. одна благотворительная дама в память его купила и подарила

институту этот участок, с тем чтобы на нем была построена больница для инфекционных болезней. К сожалению, эта дама обусловила свой подарок некоторыми стеснительными условиями и внесла очень нежелательный клерикальный характер.

Сделавшись директором после смерти Пастера, химик Дюкло начал постройку больницы, но главное внимание и средства института обратил на создание большого института биологической химии, во главе которого он поставил Бертрана, сделавшегося известным открытием окисляющих бродил (оксидаз). Кроме того, Дюкло организовал лаборатории для научной разработки пивоварения и для изучения физиологии и сельскохозяйственной химии. Главнейшая же задача института — изучение инфекционных болезней — была отодвинута им на задний план. Бактериологические лаборатории, не пользуясь достаточными средствами, должны были кое-как влачить существование, что не мешало, впрочем, производить в них интересные исследования. Так, например, в них был открыт способ разводить бактерии, проходящие через фарфоровые фильтры, так называемые фильтрующиеся бактерии, главным образом бактерию повального воспаления легких рогатого скота. Приблизительно в то же время моим помощником Борде был открыт состав вещества кровяной сыворотки, убивающего бактерий, и было изучено растворение красных кровяных телец сыворотками. Когда товарищи узнали об этих открытиях, последние показались им до того отвлеченными, что они шутили, говоря, что Борде изопряется в расщеплении волоса на четыре части. Впоследствии, однако же, оказалось, что его открытия получили очень важное практическое применение для диагноза сифилиса и некоторых других болезней, а также для судебно-медицинского исследования кровяных пятен. Этот пример да послужит уроком для тех, кто не придает надлежащей цены теоретическим научным работам.

Еще в то время, когда Пастер, ввиду бедственного положения финансов института, искал средства привлечь внимание публики каким-нибудь выдающимся открытием, я сове-

товал ему принести некоторую денежную жертву и купить несколько человекообразных обезьян для того, чтобы вызвать у них болезни, свойственные исключительно человеку. Но Пастер на это не согласился. Гораздо позже, во время директорства Дюкло, мое предложение могло, наконец, осуществиться. Воспользовавшись получением присужденной мне Международным медицинским конгрессом в Мадриде так называемой московской премии в пять тысяч франков,* я приобрел на часть ее молодую самку шимпанзе, послужившую для первого опыта прививки сифилиса. Опыт оказался удачным, что не замедлило обратить особенное внимание врачей и публики. В газетах появились статьи с иллюстрациями, и всюду заговорили об экспериментальном сифилисе как об открытии, подающем надежду на споспешествование в борьбе против этой ужасной болезни. Разработка этого вопроса значительно облегчилась благодаря содействию известных своей благотворительностью москвичей В. А. и И. А. Морозовых, предоставивших в мое распоряжение тридцать тысяч франков для научных исследований.¹⁴⁵

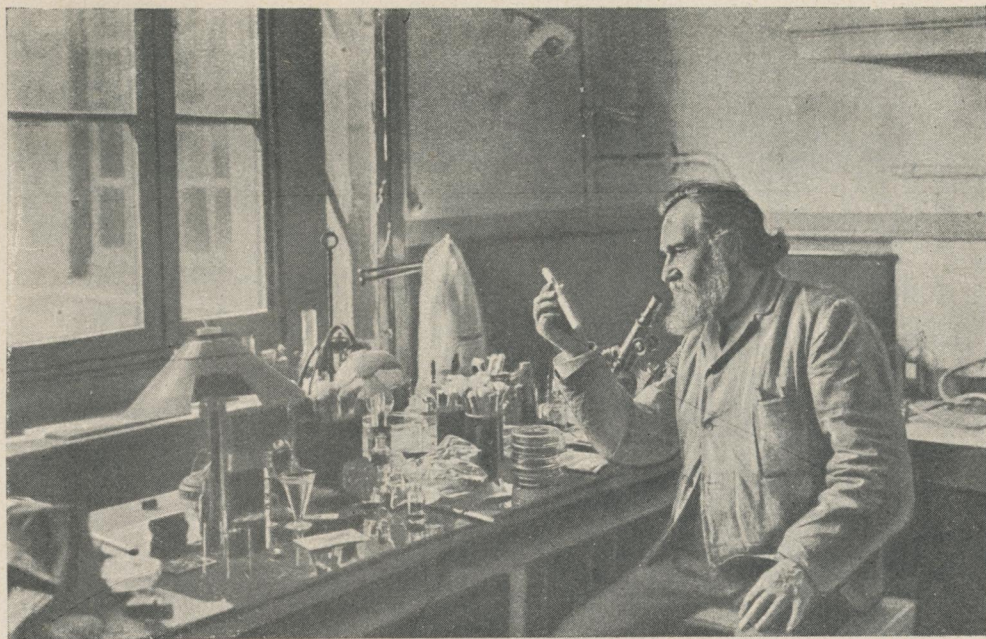
Около того же времени «Французский институт» (так называется собрание пяти академий) присудил премию Озириса в сто тысяч франков вице-директору Пастеровского института Ру, который целиком ассигновал ее на опыты с человекообразными обезьянами. Факт этот возымел огромное влияние на судьбу Пастеровского института. Одиноким, престарелым богач Ифла-Озирис, видевший вокруг себя только лиц, жадных к деньгам, был поражен великодушием Ру. Это укрепило его в мысли завещать большую часть своего состояния Пастеровскому институту, который, получив более двадцати миллионов франков наследства, оказался обеспеченным на все времена. Это дало ему, прежде всего, возможность приобрести соседний участок земли с домом, в

* Обращаю внимание на эти премии международных конгрессов. Хотя сумма их неизмеримо меньше, чем премии Нобеля, но нравственное значение их гораздо выше, так как они присуждаются несравненно более компетентным жюри, состоящим из представителей медицинской науки и избранным международным конгрессом.

котором в короткое время был организован институт для исследования болезней тропических стран, под руководством Лаврана, прославившегося открытием паразита перемежающихся лихорадок, и Мениля. В счет полученного наследства было устроено несколько новых химических лабораторий, считающихся образцовыми. В них производятся исследования по физиологии растений в применении к сельскому хозяйству и разыскиваются новые химические соединения для излечения инфекционных болезней.¹⁴⁶

Пастеровский институт, хотя и пользующийся небольшой денежной поддержкой государства и находящийся в определенных сношениях с правительством, есть частное учреждение, принадлежащее анонимному обществу. Последнее избирает из своей среды совет, управляющий институтом. В настоящее время в состав его входят: председатель Дарбу, знаменитый геометр, неприменный секретарь Академии наук; вице-президент Вальри Радо, литератор, зять и биограф Пастера; Леон Буржуа, бывший председатель совета министров; Пуанкаре, нынешний президент республики; Бетоло, бывший старшина сословия адвокатов, душеприказчик Озириса и истинный благодетель института, так как он значительно повлиял на решение Озириса оставить состояние институту; Тиссран, бывший начальник хозяйственного отделения в министерстве сельского хозяйства; Дени Кошен, депутат, один из предводителей монархической партии парламента; Шантмес, профессор гигиены; Лавран, исполняющий должность секретаря; Ру, директор института, и автор этих строк, вице-директор последнего.

Совет, состоящий из лиц очень занятых, собирается очень редко и предоставляет полную свободу директору. Последний, с своей стороны, мало вмешивается и не стесняет работающих, вследствие чего в институте отсутствует дух принуждения и дисциплины, столь дурно влияющий на серьезно относящихся к делу ученых. Очень немногие злоупотребляют этим; большинство же, чувствуя себя привольно в атмосфере свободной научной деятельности, не причиняет приютив-



И. И. Мечников в своей лаборатории в Пастеровском институте



*И. И. Мечников с женой Ольгой Николаевной
(1905)*

шему его институту ничего, кроме пользы. Вообще в институте, как французском учреждении, нравы отличаются мягкостью, по сравнению с тем, что замечается в большинстве вне-французских, сходных с Пастеровским, институтов.

После всего сказанного может показаться, что последний представляет идеал научного учреждения, совершенный во всех отношениях. Такое заключение было бы, однакоже, неверно. Не отрицая того, что Пастеровский институт послужил и продолжает служить на пользу людей и науки, ему еще недостает не мало для достижения совершенства. Нарушенное еще во время директорства Дюкло равновесие между химическим и медицинским отделениями до сих пор не восстановлено. Последнее страдает отсутствием лабораторий и недостатком клинического материала. Для более успешного хода работ было бы очень желательно, чтобы, не стесняя исследователей в их свободной деятельности, рядом с этим были планомерно организованы работы на заданные темы. Институт обладает для этого достаточными материальными средствами и вообще поставлен в условия, при которых эта цель может быть вполне достигнута.

Взвешивая, однакоже, положительные и отрицательные стороны Пастеровского института, нельзя не признать, что первые очень значительно перевешивают последние. Вряд ли существует другое научное учреждение, в котором было бы так хорошо работать, как в нем. За двадцать пять лет существования он представил этому достаточно доказательств.

Севр,

5 (18) сентября 1913 г.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛИСТЕРЕ¹⁴⁷

Назначенный организатором Международного гигиенического конгресса в 1891 г., Листер сделал мне предложение прочитать доклад о невосприимчивости; но лично я познакомился с ним несколько месяцев ранее съезда. Я увидел его впервые в зале Лондонского Королевского Общества.¹⁴⁸ Меня подвели к высокого роста, еще не очень старому мужчине с типически английским лицом. Его выразительная красивая физиономия, окаймленная седыми бакенбардами, выразила приветливую, добрую улыбку.¹⁴⁹ Он сразу заговорил о будущем конгрессе и о предмете моего сообщения. В толпе, собравшейся в Королевском Обществе, трудно было вести продолжительную беседу, вследствие чего мы скоро разошлись.

Но гораздо чаще и больше мне пришлось видеться с Листером во время гигиенического съезда.¹⁵⁰ После заседания, на котором я отстаивал роль подвижных клеток в защите организма от заразных микробов и указывал на важное значение их движений по направлению к воспаленному очагу,¹⁵¹ Листер подошел ко мне и сказал: «Я думаю, что в этих целесообразных движениях проявляется нечто высшее, чем простое химическое сродство». В этих словах ярко выразилось влечение Листера к таинственному, то мистически-религиозное настроение, к которому он был склонен в качестве члена «Общества друзей». От всей его личности веяло возвышенным идеализмом. За несколько холодной внешностью у него скрывалась добрейшая душа. Обращение его было просто; в речи никогда не прорывалась фраза. Во всем его поведении и образе жизни чувствовалось серьезное благородство. Его дом не поражал роскошью, как у большинства его лондонских собратий. Обеды у него не имели ничего общего с

чревоугодием богатых английских собраний. В виде контраста припомню обед у специалиста по части болезней мочеполовых органов Томсона, знаменитого, между прочим, тем, что он вырезал камни у Наполеона III. На этом обеде я присутствовал вместе с несколькими английскими врачами и в том числе со Спенсером Уэльсом, введшим чревосечение в хирургию. Каждое блюдо, каждый сорт вина сопровождалось комментариями. Вино сначала обнюхивалось и потом уже подносилось ко рту. Дом изображал из себя настоящий музей, и в одной только столовой была целая коллекция картин Альма Тадемы. Ничего подобного никогда не бывало у Листера. Последний раз, когда я его видел, в 1906 г., Листер, уже очень состарившийся, но еще довольно бодрый, принял меня в кабинете, заваленном книгами. Он уже не делал самостоятельных работ, но читал очень много и интересовался всем. Он изложил передо мною целую программу работ о крови и советовал поручить кому-нибудь из моих учеников ее разработку. Вскоре после этого посещения здоровье Листера сильно пошатнулось, и он уже редко оставался в Лондоне, и то не надолго.¹⁵²

Судя по тому, что известно о личности и характере Дарвина, Листер во многом напоминал его. У него никогда не проглядывало ничего низменного, эгоистичного. Он был джентльменом в лучшем значении слова.*

* Биографические сведения о Листере можно почерпнуть в «Lancet» 1912, 17 февраля, и «British medical Journal» от того же числа.

Знакомство с первой работой Коха тотчас после ее появления на свет вызвало во мне чувство необыкновенного уважения к нему.¹⁵⁴ Чувство это перешло в настоящее преклонение, когда я прочитал его первый доклад о чахоточной палочке. Завеса, которая долгие годы скрывала от тревожного человечества тайну о его самом сильном враге, сразу спала.¹⁵⁵ Хотя прежние работы Вильмена установили не оставлявшим сомнения образом, что бугорчатка есть инфекционная болезнь, передающаяся посредством заразного начала, но от этого до открытия бактерии, которая является причиной болезни, бактерии, которую можно выращивать в искусственной среде и, зная ее свойства, бороться против нее, расстояние было огромно. К тому же совершенство техники, приведшее Коха к его поразительным результатам, приводило всех знакомых с делом в настоящий восторг.¹⁵⁶

Будучи руководителем целой школы молодых бактериологов, Кох сразу сделался противником моей теории невосприимчивости против заразных болезней. Он внушал своим ученикам темы работ, направленные против меня. Встретившись на Международном съезде гигиенистов в Вене в 1887 г. с его главным ассистентом, я узнал от него, что Кох очень желает видеть мои препараты, относящиеся к моей последней работе о возвратном тифе, и просит, чтобы я ему прислал их.¹⁵⁷ Я, разумеется, согласился, но прибавил, что вместо того, чтобы отправлять препараты, я повезу их сам и покажу Коху. Бывшие свидетелями этого разговора известные мюнхенские бактериологи уговаривали меня не делать этого, так как они были уверены, что я попаду впросак. Кох преднамеренно не увидит на моих препаратах того, что я в них описал, и объявит мои выводы опровергнутыми на основа-

нии личного осмотра моего материала. Я, разумеется, не послушался этой угрозы и, спустя некоторое время, поехал в Берлин. Явившись в Гигиенический институт, в котором профессорствовал Кох, я застал там его ассистентов и учеников. Осведомившись у Коха, они сказали, что свидание назначено на следующее утро. Тем временем я выложил свои препараты и стал показывать их его молодым сотрудникам. Все в один голос заявили, что то, что они только что увидели под микроскопом, безусловно подтверждает мои выводы.

Подбодренный этим, я с главным ассистентом отправился на следующий день в лабораторию Коха. Я увидел сидящим за микроскопом пожилого, но не старого человека, с большой лысиной и окладистой, еще не поседевшей бородой. Красивое лицо имело важный, почти высокомерный вид. Ассистент осторожно сообщил своему начальнику, что я пришел, согласно назначенному им свиданию, и желаю показать ему мои препараты. «Какие такие препараты,— сердито ответил Кох.— Я вам велел приготовить все, что нужно, к моей сегодняшней лекции, а вижу, что далеко не все налицо». Ассистент стал униженно извиняться и снова указал на меня. Кох, не подав мне руки, сказал, что он теперь очень занят и что не может посвятить много времени для осмотра моих препаратов. Наскоро было собрано несколько микроскопов, и я стал ему указывать на особенно, по моему мнению, доказательные места. «Отчего же вы покрасили ваши препараты в лиловый цвет, когда было бы гораздо лучше, чтобы они были окрашены в голубой?». Я объяснил ему мои доводы, но Кох не успокоился. Уже через несколько минут он встал и заявил, что препараты мои совершенно недоказательны и что он вовсе не усматривает на них подтверждения моих взглядов. Этот отзыв и вся эта манера Коха задела меня за живое. Я ответил, что ему, очевидно, недостаточно нескольких минут, чтобы увидеть все тонкости препаратов, и что поэтому прошу его назначить мне новое свидание, более продолжительное. Тем временем окружавшие нас ассистенты и ученики, которые накануне были во всем согласны со мною, хором заявили свое подтверждение мнения Коха. На

втором свидании Кох был несколько уступчивее. После попытки несогласия со мною он все-таки увидел, что требовалось, но в заключение заявил: «Знаете, ведь я не специалист по микроскопической анатомии. Я гигиенист, и потому мне совершенно безразлично, где лежат спириллы — внутри или вне клеток». На этом я распростился с ним.¹⁵⁸

Лишь спустя девятнадцать лет после этого сеанса Кох заявил печатно, что я был прав в то время, когда показывал ему мои препараты. Но между этими двумя событиями успело утечь много воды. Кох тем временем опубликовал свои работы о лечении бугорчатки, претерпел много гонений и всякого рода неприятностей.¹⁵⁹ Вместо Гигиенического института он сделался «директором Института для инфекционных болезней», при котором у него была собственная клиника. В один из моих проездов через Берлин, в 1894 г., я зашел к заведующему его лабораторией, профессору Пфейферу, с которым у нас было много счетов (разумеется, бактериологических). «А знаете, ведь тайный советник теперь здесь», — сказал он мне. Припомнив нелюбезный прием Коха во время моего первого посещения, я не изъявил желания снова предстать перед его превосходительством. Почти тотчас после этого Пфейфер вышел, вернувшись вскоре с Кохом. Это был теперь совсем другой человек. В высшей степени любезный, он повел меня осматривать его клинику, стал показывать больных, входил во всевозможные подробности лечения туберкулином и резко критиковал врачей, не умеющих обращаться с ним. В заключение он пригласил меня с женой обедать, с тем, чтобы познакомить нас с его супругой. Следы от первого приема совершенно изгладились.¹⁶⁰

Затем наступил период странствований Коха в Индию, Африку и пр. Следующий раз я, через десять лет после второго свидания, встретился с ним сначала в Берлине, а потом в Париже, куда Кох приехал, чтобы показать его своей жене.¹⁶¹ В качестве бывшей актрисы она стремилась посетить парижские театры и послушать знаменитых актеров и актрис. С первого же дня по приезде они каждый вечер ходили по театрам. Так как Коху в то время уже перевалило за

шестьдесят, то я думал, что такое времяпровождение должно бы его утомить. Поэтому в последний день их пребывания в Париже, когда мадам Кох пожелала полунощничать в «монмартрских кабаках», я нашел ей провожатого среди молодых врачей, которые были не прочь повеселиться. Но Кох и тут оказался неизменным, он сам повел жену смотреть глупейшие представления на Монмартре. С большим удовольствием Кохи посещали парижские рестораны, обнаруживая вкусы, не совсем совместимые с ролью Коха как гигиениста. Он потешался над моей гигиенической последовательностью, упрекая меня в педантизме. Я думаю, что это отсутствие «педантизма» у Коха оказало ему дурную услугу, ускорив его смертельную болезнь.

Было видно по всему, что Кох приехал в Париж не ради научных целей. Тем не менее ему было показано все, что могло его интересовать. В Пастеровском институте ему был оказан прием, которого не устаивались коронованные особы. Весь персонал собрался в библиотеке, где Кох был встречен радушным приветствием и единодушными рукоплесканиями. Осматривая лаборатории, конюшни и остальное, он всего более интересовался техническими подробностями. Он записывал малейшие усовершенствования в способах взимания крови у лошадей, в приемах впрыскиваний и пр. Я повел его к Кюри, который показал нам опыты с радием и его эманацией.

Во время своего пребывания в Париже, которым он остался очень доволен, Кох успел посетить и некоторые музеи. Осмотр Луврской галлерей под руководством моей жены убедил ее в том, что Кох был очень сведущ по части живописи и обнаруживал серьезный вкус к ней. Вообще он оказался далеко не узким специалистом, как это могло показаться при чтении некоторых его статей. Он был очень начитан в различных областях знания. В философии он был последователем Маха, одно из сочинений которого он мне потом прислал на память. Мы с ним расстались друзьями.¹⁶²

Вскоре после Парижа Кох с женой снова отправился в немецкие колонии восточной Африки. Он с любовью вспоми-

нал свои путешествия и уверял, что африканский климат ему очень полезен и что вообще о последнем судят очень неправильно. По его мнению, климат африканских плоскогорий — один из лучших на свете. В письмах к своей дочери, напечатанных после смерти Коха, он выражал сожаление о том, в каком дурном климате приходится жить европейцам, чего они сами впрочем не сознают.

Последний раз мне привелось увидеть Коха летом 1909 г. Я застал его в лаборатории увлекавшимся исследованиями бугорчатки, которую он пробовал лечить новыми препаратами турберкулина. Он имел здоровый, бодрый вид, и ничего не предвещало близкого конца. Одиннадцать месяцев спустя его уже не стало.